

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели

М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцатый год издания

Кн. 65

Нью Йорк

1961

THE NEW REVIEW

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, September 1961
Quarterly, No. 65
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price \$9. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Л. Ржевский</i> — Через пролив	5
<i>Д. Кленовский</i> — Стихотворения	28
<i>Д. Мережковский</i> — Св. Иоанн Креста	31
<i>Вл. Корвин-Пиотровский</i> — Калифорнийские стихи	62
<i>Вл. Варшавский</i> — Мечтание	65
<i>Н. Туроверов</i> — Конь (стихи)	91
<i>Р. Плетнев</i> — О животных в творчестве М. Ю. Лермонтова	94
<i>К. Померанцев</i> — Два стихотворения	110
<i>Д. Гольдштейн</i> — Переделка писем Достоевского	111
<i>Ирина Одоевцева</i> — Стихотворения	121
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Ю. Анненков</i> — Воспоминания о Ленине	125
<i>Андрей Седых</i> — И. А. Бунин	151
<i>Б. Одинцов</i> — Высшая школа в 1918-22 годах	198
<i>И. С. Ильин</i> — Комуч	221
<i>К. Вендзягольский</i> — Савинков и Керенский	242
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Н. Нижальский</i> — Эволюция Павлова	248
<i>Ю. Денике</i> — Труд поработанной мысли	255
<i>Н. С. Тимашев</i> — Сталинский террор и перепись 1959 года	266
<i>В. Вейдле</i> — Похороны Блока	270
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:	
<i>Проф. Б. С. Ижболдин</i> — Русские историки о татарском иге	277
<i>Александр Билимович</i> — О бюллетене русской зарубежной печати	281
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>Ричард Пайпс</i> — А. Walicki. Osobowość a historia. <i>Вл. Варшавский</i> — «Воздушные пути». <i>Артур Адсон</i> — А. Rannit. Verse an Wiiralt und an das Geklaerte Gleichnis. <i>Л. Алексеева</i> — Олег Ильинский. Стихи. <i>Н. Тимашев</i> — И. Курганов. Нации СССР и русский вопрос. <i>Юрий Арбатский</i> — Очерки по истории первого московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова. <i>Роман Гуль</i> — Игорь Чиннов. «Линии». <i>Роман Гуль</i> — Л. Ржевский. «Показавшему нам свет». <i>Л. Алексеева</i> — Н. Белавина. «Синий мир»	284
Книги для отзыва	304

ПОХОРОНЫ БЛОКА

Кое-где вдоль Невского на домах были расклеены белые бумажки. Выйдя из вокзала я почти сразу их заметил, подошел к одной из них и прочел мелким шрифтом напечатанное извещение: умер Александр Блок, панихиды тогда-то, погребение там-то, тогда-то.

Сорок лет прошло с тех пор. Было девятое августа. Три дня я провел в поезде: в Петербурге не был с апреля. Надо было занести вещи домой. Оттуда я пошел прямо к нему на квартиру.

Тогда я еще только собирался стать писателем. Никогда у него не был, не встречался с ним, да и видел только два раза издали, когда он читал стихи, один раз «Под насыпью, во рву некошенном» и еще что-то из третьего тома, другой раз недавно, перед самым моим отъездом, третью главу «Возмездия». Неподвижный, сухощавый, прямой, он читал своим глуховатым голосом ровно, почти не меняя интонаций, и все же с предельной их точностью и выразительностью.

Отец лежит в «Аллее роз»
Уже с усталостью не споря,

читал, как этого больше никто прочесть не сумеет. Такого чтения стихов и раньше мне слышать не доводилось, и позже не довелось.

Вид у него и тогда уже был измученный, обреченный. Но теперь его нельзя было узнать. Это темножелтое, кости да кожа, чужое лицо в грубу... Похожим могло быть разве что лицо рембрандтовского блудного сына в Эрмитаже до того, как он склонил колени и припал к груди отца.

Панихида только что кончилась. В полутемной комнате оставались близкие, женщины с платками у глаз, в глубоком трауре. Но были и такие как я, знавшие его только по стихам. Я постоял немного, подошел, нагнулся над ним, поцеловал его сложенные на груди руки и вышел поскорей на лестницу.

Потом мы его хоронили; десятого; на другой день. «Мы», то есть все в тогдашнем Петербурге, кто был причастен к

литературе и просто кому дорог был Блок и дорога была поэзия. Нас было много. Гроб мы несли на руках, сменяясь по четверо, от дома на Офицерской до Смоленского кладбища. Вспоминая об этом, слышу внутри себя его голос, читающий «Возмездие», и чувствую до сих пор на плече тяжесть его гроба. Два раза со мной рядом нес его Андрей Белый, и мне казалось, что своими водянистыми, зелено-прозрачными глазами он смотрит прямо перед собой и не видит никого и ничего. Помню бледность Ахматовой и ее высокий силуэт над открытым гробом, в церкви, после отпеванья, когда мы все еще раз подходили и прощались с ним.

На следующее утро я пошел к нему на могилу, но еще издали увидел сухенькую фигурку в черном, склонившуюся у креста. Кто же, как не мать его, могла еще так плакать, так молиться? Лучше было уйти, горю ее не мешать.

**

*

Не было поэта после Пушкина, которого так любили бы у нас, как Блока. Но надгробное рыдание наше — за всю страну и отозвавшееся по всей стране — значило все таки не одно это, не одним этим было вызвано. Провожая его к могиле мы прощались не с ним одним. С его уходом уходило все, что было ему и нам всего дороже, все, что сделало его тем, чем он был, и что сделало нас, все, чем и мы были живы. Мы хоронили Россию. Не Россию российского государства, хоть и была она тогда разрушена и унижена, и не Россию русских людей, а другую, невидимую Россию, ту, что становится осязаемой в русской поэзии, все равно говорит ли эта поэзия прозой или стихами. Неся его гроб мы не думали, что русской земле угрожает гибель. Невидимая Россия — нечто более хрупкое, чем видимая. Пусть и не отдавая себе в том ясного отчета, мы скорбели именно о ней. Мы не предполагали, конечно, что больше не будет выходить книг, что литература кончится, или хотя бы что не будут больше писать стихов (зная, что в с е г о, высказываемого стихами, прозой высказать нельзя). Мы только думали, что общий смысл всего публикуемого в стихах и прозе начал уже меняться, будет меняться еще больше, и что смерть Блока — нечто очень важное в ходе этих перемен.

Что бы мы ни думали, каждый в отдельности, это оставалось общей нашей думой. Перемены были таковы, что в их результате — мы это видели и мы знали, что Блок это видел,

что он стал это видеть в последние два года перед смертью — намечался полный разрыв не с одним лишь государственным и общественным строем нашего прошлого, но и с той любимой нами невидимой Россией, которой перемены эти сулили, если не истление, то немощь и немоту. Всей русской письменности предстояло жить в таких условиях, в каких она никогда раньше не жила, ей грозила неволя, какой она никогда, хотя бы и в худшие, давно прошедшие времена, не знала. Настоящего представления об этой новой неволе у нас тогда еще не было. Свобода слова в то время еще не совсем была отменена. Нельзя было высказывать политических мнений слишком для власти неприятных, но на другие темы можно было писать и печатать почти все, что угодно, а главное еще не давалось положительных распоряжений насчет того, о чем — да еще и как именно — следует писать. Эта относительная свобода не сразу исчезла и после смерти Блока, удержалась до середины, а в жалком остатке и до конца двадцатых годов. Однако, предвидеть это исчезновение можно было давно, — или предчувствовать, даже и не обладая тем особым внутренним слухом, который у Блока был неотделим от его поэтического дара. Пушкинская его речь «О назначении поэта», и прежде всего о свободе поэта, произнесенная всего за полгода до его кончины и повторенная три раза была самым точным и для всех очевидным выражением этого предчувствия.

От предчувствий такого рода он и занемог, от них и вкус к жизни потерял; и еще оттого, что пришли они к нему все таки слишком поздно. Слушал он, слушал «музыку революции» и других призывал слушать, а этого в ней не расслышал. Когда именно он стал э т о слышать, никто в точности не знал, не знает и теперь, но что у с л ы ш а л, это было известно всем сколько-нибудь к нему близким и всем, кто с этими близкими был знаком, а после пушкинской речи в этом и вообще нельзя было больше сомневаться. Шедшие за его гробом не сомневались, но и никто из них, я думаю, не истолковывал того, что с ним произошло, так лубочно, как это делалось иногда впоследствии. Мы знали: от «Двенадцати» он не отрекся. Возвращения к прошлому, столь ненавидимому им, справедливо или нет, он желать не мог. В «Записке» о своей поэме, помеченной 1-ым апреля 1920-го года, впервые опубликованной в 1922-ом году и которую столь неохотно и с такими пропусками печатают в советских изданиях, он высказывается вполне ясно: «Поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую пору, когда пронсящийся рево-

люционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над ними. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать»; оттого в поэме осталась капля политики». После чего он спрашивает себя о будущем поэмы, но тут же замечает: «Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией». Отчего же «теперь» с иронией? Оттого что понял: то будущее, ради веры в которое написана поэма, еще во всяком случае очень далеко, а путь, по которому решено идти к нему таков, что он то как раз и делает это будущее недостижимым или для поэта неприемлемым. В пушкинской речи он говорил, не в прошедшем времени, а в настоящем, о чиновниках, «которые собираются направлять поэзию по каким то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу». И все мы слышали или читали, все мы помнили слова, сказанные им в той же речи: «Поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

Мы знали, почему Блок умер и знали, что его не уберegli. Знали, как тяжело ему было последние годы от всего, что творилось кругом, от всего, что он почувствовал, услышал вопреки и наперекор «Двенадцати», так тяжело, что эта душевная боль привела его к болезни, или помешала бороться с ней, и ускорила его кончину. Знали также, что когда он слег, стали хлопотать о его выезде за границу для лечения, и что разрешение на этот выезд долго не приходило, а пришло, когда он умирал. Знали и о встрече, которую приготовили ему за пять месяцев до смерти, в московском «Доме искусств», молодые и называвшие себя революционными литераторы, кричавшие ему, уже больному, что стихи его — никому не нужное старье и сам он — живой труп, мертвец. Слова эти он принял, как правду: да, мертвец. Передавали, что и сам незадолго до смерти сказал: «Россия меня слопала, как глупая чужка своего поросенка. Та ли это была Россия, которая его родила? В этой России съевшей или заспавшей его, много ли места осталось для русской поэзии?»

Наша грусть от всего этого не становилась светлее. Нет, не его одного провожали мы в тот день на кладбище. Изда-

лека, со стороны ничего не стоит, разумеется, сказать, что грусть наша была преувеличена, опасения напрасны. Разве со смертью Блока перевелись на Руси поэты? Он был драгоценнейшим — и младшим — в том их поколении, которое создало наш «серебряный век»; но разве следующее, шедшее на смену поколение не расцвело как раз к тому времени, когда его не стало? Разве Ходасевич, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак не в двадцатые как раз годы дали лучшее или многое из лучшего, что ими было вообще написано? А Есенин? А Маяковский? Да еще и другие. И не одними ведь стихами живет литература, а проза после 21-го года разве не была интересной и живой? На это, мне кажется, я могу ответить от имени всех, кто вместе со мной шел за гробом Блока и с тревогой думал о будущем: да, эти возражения и нам казались вескими, мы и сами утешались ими; после похорон утешались, но именно тогда, в двадцатых годах, в начале двадцатых годов. Позже утешаться ими становилось все трудней. Двадцатые годы двигались в очень определенном направлении: от стихийных бедствий и бессистемных свирепств к систематическому искоренению всех попыток мыслить по своему и всякой возможности делать свободно свое писательское дело. Символически — и вполне точно по датам — это можно выразить так: двадцатые годы шли от расстрела Гумилева к самоубийству Маяковского. И середину их тоже весьма точно можно определить: это год, когда повесился Есенин.

Угасание Блока было предвестием. Через три недели после его смерти убили Гумилева: как политического врага; в его лице была убита несогласная с революцией поэзия. В лице Есенина покончила с собой революционная, но обманутая революцией крестьянская, пусть и несбыточная, мечта. В лице Маяковского поэзия, всего тесней связанная с революцией, но полностью исчерпанная и упершаяся в тупик, сама на себя наложила руки. К тому времени Мандельштаму, Ахматовой, Пастернаку заткнули рот, а Ходасевич, Цветаева были за границей, и в Россию их стихов не пропускали. Проза к тому времени становилась там все менее живой и интересной, а советская литература следующего десятилетия, сравнительно с предыдущим, вся в целом представляется в высшей степени серой и казенной. О дальнейшем не говорю ничего, но неудивительно, что с середины пятидесятых годов молодое литературное поколение так жадно тянется к двадцатым, или к Пастернаку, прославленному уже тогда, и некоторым его

сверстникам. То поколение было последним, которому дано было высказать свое, вместо того чтобы полусвоими словами пересказывать чужое. Те годы, двадцатые, для нынешней молодежи, это годы, когда слово не было еще удушено. Только это все таки годы, когда его удушали и удушили.

Нет, наше чувство было верным, когда, оплакивая Блока, мы скорбели не о нем одном. И тем более оно было верным, что и тогда уже очерчивалось, а вскоре и совсем определилось то разделение русской литературы на-двое, которое, конечно, ни частям, ни целому счастья принести не могло. Для всех пишущих по-русски оно было и есть несчастье. Литературу нашу оно калечит, и если что в нем хорошо, то разве лишь то, что две ее части калечит оно по-разному. Никто не может судить и тем более осуждать, ни тех, что ушли, ни тех, что остались. Одни знали, что нельзя им оставаться, другие, что нельзя им уходить. Слава Богу еще, что некоторые из оставшихся написали как-никак, хоть почти и чудом иногда, то, чего не написали бы, если бы не остались (например «Доктора Живаго»). Слава Богу, что некоторые из ушедших завершили свое писательское дело или все же написали то, чего не написали бы, если бы не ушли (хотя бы потому, что жизнь их кончилась бы раньше). Там литературу нашу (усердней всего поэзию) душили; здесь она задыхалась от узости круга, в котором пришлось ей жить: писательского, читательского, вообще русского, при разбросанности и отнесенности немногочисленной нашей зарубежья. Быть может когда-нибудь соберут ее обломки по обе стороны границы, отбросят рабское, захиревшее, пустое, и тогда увидят, что в глубине все же не две их было, что она была одна. Одна, как ее еще видели те, что потом ушли и те, что остались, когда вместе хоронили Блока.

**
*

Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце в муке погасшее...

Во всей истории нашей не было таких похорон. Пушкина тоже не убергли. Пушкина любили. Но прощаясь с Пушкиным, прощались все же только с ним. Тут было другое про-

шание; оно продолжается по сей день. И если бы, после стольких лет, Бог весть какими судьбами, я повстречался снова с Анной Андреевной Ахматовой, или наши тени повстречались бы в Елисейских полях, я уверен, она согласилась бы со мной, что прощание это еще не кончилось.

В. Вейдле